

Каринэ АРУТЮНОВА

Каринэ Арутюнова родилась в Киеве, окончила Киевский экономический университет. Автор книг «Пепел красной коровы» (СПб, 2011), «Скажи красный» (М., 2012), «Дочери Евы» (Ridero.ru, 2015). Публикации в журналах «Зарубежные записки», «Сибирские огни», «Крещатик», «Полутона», «Интерпоэзия», «Иерусалимский журнал», «ШО» (Киев), «Новый мир», «Знамя» и др. В «Волге» публикуется с 2013 года.

МИМО ЛЕСА И РЕКИ

И что же потом? Наступит понедельник, момент подведения итогов. Внезапной трезвости и даже грусти. Вот так незадачливый Менахем-Мендл возвращается в свою прекрасную Касриловку

Он гладит по головам столпившихся вокруг детей, жену и улыбается печальной своей улыбкой.

Все ярмарки когда-нибудь заканчиваются, дорогие мои. Но у вас в запасе всегда должно быть что-то еще. Например, вечная игла и старая швейная машинка.

Абрикосовая косточка

У каждого армянина своя абрикосовая косточка. Конечно, лучше, когда плод, или дерево, или даже целый абрикосовый сад, но так бывает не всегда. Порой все, что у тебя есть – та самая косточка, которую сжимаешь в ладони.

Разрозненные воспоминания, их так сложно собрать воедино – например, – Азаран-блбул – это птица? или человек?

Про Азаран-блбул, красную корову, синьора Мартироса, про стертый камень из деревни Шикагох, про жертвенного ягненка из Мерцавана, про тонкие листы лаваша, горячий воздух из тонира, про Сис и Масис, про сладкую воду из источника, про хачкары на всей протяженности пути – все то, что мне предстоит узнать однажды, – сначала с тобой, потом – без тебя

Однажды. Наверное, именно она, эта косточка, заставит вслушиваться в слова, искать глазами глаза.

Только не надо о Комитасе, хорошо? Не надо упоминания о том, что и так существовало всегда. Ты уже родился с этим. Тебя еще не было, а Комитас – был. Не буду объяснять, что это значит. Каждый армянин рождается с этой мелодией. С этим плачем, с этим пеплом, с этим счастьем, с этой тоской, которая – слышите? – Ко-ми-тас.

Давай поспорим. Что было в начале? Старая яблоня, абрикосовое дерево, белая крыша соседского дома, нестройное блеяние овец, люди с острыми глазами из-под густых бровей и это слово смешное... «нани», – то ли из снов, то ли из сказок, напомним...

В сказке всегда была добрая красная корова, которая спасала. Она превращалась то в дерево, то в птицу, то в воду... Там были маленькие красные яблочки. От них прибавлялось сил. Ты помнишь, как бежали они, взявшись за руки, – мальчик и девочка..

Она всегда была рядом.

И тогда не пугали ни жажда, ни голод, ни одиночество.

Когда не останется воспоминаний, я возьму книгу.

Когда закончится книга, я скажу – вначале был Карс.

И, наконец, заплачу.

Пеленка

Все-таки удивительно, до чего же домашние питомцы похожи на своих хозяев.

Собственно, изначально формулировка неверна. Если я его с пеленок вынянчила, то на кого он, спрашивается, будет похож? А пеленку нам с собой аккуратненько завернули, вытащив из-под мамы, порядком утомленной всем этим гвалтом. Она (в смысле мать, не пеленка) поволновалась для порядка, поголосила, чем вконец истерзала мое подштопанное во многих местах сердце, я еще долго помнила ее трагичный лучистый взгляд – а ну-ка покажите мне таксу, лишённую трагических изломов).

Так вот, вытащили нам эту самую материнскую пеленочку и дали в наследство, и наш новорожденный всю дорогу сопел в нее и что-то там причавкивал в беспокойном сне, напившись в последний раз молока из отчего дома. Я, конечно, клялась, что сохранию ее, пока дитя не вырастет окончательно и не возмужает, но, как это водится, торжественной клятвы, данной в момент душевного подъема легко и безрассудно, так и не сдержала.

Примерно с месяц мы с малышом по очереди нюхали и мяли это самое наследство, пока оно не кануло в Лету, смешавшись с бездной других тряпочек, пеленок, бумажек, подстилок.

Вот так предаешь самое святое. Но я, собственно, совершенно не о том хотела сказать. А о чертах характера, о родовых признаках, передающихся уж не знаю каким путем.

Возьмем, например, разлуку. В нашем доме хлебом не корми, а только намекни на нее. Чтобы вы понимали, речь не идет о непоправимых ситуациях. Понимаете? Боюсь, что не вполне.

Любое поползновение выйти за пределы родового гнезда сопровождается, знаете ли, тяжелыми предчувствиями и аллюзиями. Ну, вы помните незабвенное (и всякий раз навек прощайтесь...). В ежедневном употреблении этот убийственно прекрасный образ нависает дамкловым мечом над притихшими домочадцами.

Идеал – это когда все от мала до велика собираются за длинным столом и никто никуда не уходит. Могу добавить – никогда.

Первый, кто попытается нарушить гармонию, подвергается... Не то чтобы остракизму. Хуже, гораздо хуже. Господи, ведь так хорошо длить и длить это волшебное единение, а меж тем третья смена блюд и чувство естественного пресыщения (от затянувшейся беседы в том числе) подпирают, давят, вынуждают.

А, хорошо, только смотри там, недолго, да? разве что на минутку, – виновный пулей выскакивает из-за стола и под одобрительными взглядами (чуть ли не аплодисментами) возвращается обратно. Некоторое время сидящие переводят взгляд с солонки на сахарницу, барабанят пальцами по столу, обмениваются знакомыми фразами и междометиями, меняют позы, сдвигают стулья, – долгое «дааа» раздаётся то тут, то там.

Из нашего дома так просто не выйти, господа. Иной раз и посторонние вязнут в недрах совмещенных удобств и восточного гостеприимства.

Всякий раз, когда кто-то осмеливается покинуть обжитое и, безусловно, намоленное пространство (или хотя бы помыслить об этом), за кадром звучит дудук. Без абрикосовой дудочки никак.

Вообразите. Сидящие в молчании домочадцы и щемящий звук дудука. Ну, дальше понятно. Все как один дружно бросаются к окнам и провожают спину уходящего красноречивыми вздохами, удачными метафорами (в этом деле равных нам нет) и прочая. Звук захлопнувшейся входной двери долго еще стоит в ушах... разрывает сердце, бередит

душу.

И тут вы можете (и это ожидаемо) спросить – господи, и как же тебе удалось? как? Решиться, зажмурить глаза, сделать шаг (над пропастью) и на долгие годы выскользнуть...

Не спрашивайте, как, через какие тернии, и чем все это закончилось. Скажу только – символ покинутого очага зиял и реял, опустошал, давал силы, приближался и отдалялся, являлся во снах...

Господи, сколько безутешных, сладких и горьких снов, в которых то смятый краешек занавески, то любимая настольная лампа, то печальный и тривиальный вид из окна, то какое-то особенное освещение, то величественные ряды, несметные орды книг ширятся и возносятся, рыдая и заклиная – вернись, вернись, вернись...

Конечно же, пытаюсь минимизировать эмоциональные затраты. Произношу какие-то стертые, нарочито небрежные слова. В нашем доме принято разворачиваться на пороге с прижатой к груди рукой.

Я скоро вернусь. Кто научил тебя колотиться грудью (наотмашь) о дверь, рвать когти о ковролин, кричать дурным голосом, изнемогая от предчувствия неизбежных утрат, – уходят, уходят же, – я знал, я так и знал, что этим все закончится, я чувствовал, я...

Он стоит у двери (живой укор), его маленькое вмиг исхудавшее тельце (эти короткие ножки, эти плюшевые ушки) содрогается от рыданий, и некто невидимый (о, каждый из нас успевает услышать этот глубокий, идущий прямым из сердца саднящий сипловатый звук) достает абрикосовую дудочку, любовно протирает ее не очень чистой, но незаменимой в этом деле младенческой пеленкой, и начинает играть.

Нарекаци от Лилит

Лилит Меликсетян

На моей книжной полке два тома Григора Нарекаци. Один – папин (с иллюстрациями Тороса Рослина). Второй – от Лилит.

На моей полке два Минаса. Один (маленький, черно-белый). Второй – два кило весом, роскошный, цветной – от Лилит. Собственно, в тот раз уже все было «от Лилит». Осенний Ереван, мое причащение (иначе ведь и не скажешь), мое возвращение – все было от Лилит.

Это «от Лилит» распахнуты были двери домов, улиц и музеев – для того, чтобы я смогла войти, познать, прикоснуться. Там был Минас. Живой. На всю стену. Полыхающий столь нестерпимо, столь горячо.

Заверните, – произнесла Лилит, и я увезла с собой все, – все цвета и оттенки, все полотна (перед которыми не настоишься и не намолишься), все библейские звуки (под которые не наплачешься), весь воздух (которым не надышишься), весь лаваш (которым не наешься), всю воду (которую не выпьешь).

Заверните, – произнесла Лилит, и мне завернули – и охру, и лазурь, и умбру, и звон колокольчика, и плоские крыши, выбеленные полуденным зноем, и Комитаса. Свет и цвет (а второе от первого неотделимо) – от Минаса. Слово – от Григора. Армения – от Лилит.

Не та, первая, августовская (от моего отца), сразившая солнечным ударом, обмороком познания, причащения, – напоминающая сладкой болью (от невозможности вернуться в пылающий август четырнадцати, в июль девятнадцати).

А вторая, позднеосенняя, от Лилит.

Я больше ничего не скажу, потому что восток. И если, боже сохрани, вы делаете некое движение в сторону того, что вами давно любимо, то обязательно найдется кто-то, готовый «завернуть» это вам.

А столько счастья моя полка не вынесет. Она совсем хлипкая, эта полка, на ней едва умещаются Комитас, Нарекаци с Торосом, Минас (первый и второй).

Человек-транзистор

Чтобы узнать последние новости, вовсе не нужно выходить из дому. Достаточно открыть окно.

Здесь у нас все. Хроника, факты, комментарии. Один мужчина, к слову сказать, целыми днями сидит с транзистором под подъездом. Что-то из других времён. Не с планшетом, не со смартфоном, а именно с транзистором. Я даже завидую чуть-чуть, пробегая мимо. У него весь мир на ладони. Тут тебе и оперные арии, и джаз, и фолк, и холодная война, и тарапунька со штепселем. И, главное, без всякой суеты. Сидит себе, свежую прессу листает, свежим воздухом дышит. Человек этот интеллигентен, слова лишнего не скажет, а если скажет, то тихо, и даже дворовые урки преклоняются перед этой тихостью, шеи тянут, на корточки присаживаются, так, прости господи, и до Равеля недалеко, не говоря уже о Дебюсси.

Однако, самое основное, если хотите знать, это гаражи. Вот там разворачивается настоящая картина мира. Там старые голландцы, натёртый паркет, полотна живописуют, свечи трепещут, клавесин наяривает. Хочется, закрыв глаза, отдаться потоку изысканнейшей речи, полной двусмысленностей и утонченной недосказанности...

В раскрытое окно врывается поток весеннего бриза. Фрейлины шуршат по паркету, поют тревожными высокими голосами, транзистор хрипит, Брейгель старший и Брейгель младший, взявшись за руки, слетают с детской горки, сооруженной в семидесятых годах прошлого столетия, и, я вам скажу, сооруженной на совесть, – сколько поколений полировало ее покатым металлический изгиб...

Итак, утро. В щель раскрытого окна некто невидимый просовывает свежую газету, вместе с круассаном и грамотно сваренным кофе, что, согласитесь, немаловажно, – бегло просматривая новости, я отщипываю холеный бок круассана, прихлебываю прекраснейший из напитков, слушаю Риголетто, и знаете, что я вам скажу?

Я поступлю так, как поступала Песя Пятирубель в незапамятные времена.

В любой сложной ситуации, – слушайте сюда, – Песя Пятирубель брала потертую кошелочку и шла на колхозный рынок. Она шла на рынок, мечтая о копеечном квасе из бочки, о маринованной сельди, о бокастой редиске, о свежем пучке зеленого лучка, о скользких пупырчатых огурчиках, об упругих рыбьих хвостах, о квашеной капусте, о зеркальном карпе в эмалированном тазу... О чем она только не мечтала, эта самая Песя...

Посмеиваясь, она вытаскивала из нагрудного кармашка кошелек. Совсем маленький. И, шевеля губами, медленно пересчитывала медяки. Раз, другой, третий.

После третьего раза она глубоко вздыхала и, зажмуриваясь от предвкушения, покупала у знакомой торговли большой стакан черных семечек, – не сразу, конечно, а пробуя, торгуясь, прицениваясь тут и там, она покупала огромный стакан поджаренных семечек, – причем сыпали ей с походом, не скупясь, – Песю на рынке знали, узнавали издалека, – без Песи рынок был не рынок, день не день.

И вот, покупала Песя этих самых семечек и, счастливая, шла домой, – знаете, как это бывает? Солнце светит, ветерок поддувает, жизнь, какая-никакая, а идёт.

Поединок

Я помню ощущение бесконечного счастья, – в старом подольском доме, – когда выуженные из пристенного закутка несколько тяжелых тускло-зеленых томов Куприна еще сушили блаженство откровения, – и шелест переворачиваемых (с задержкой дыхания) желтоватых листов, и рельефно проступающие тисненные буквы, и запахи – клея, бумаги, выстроенных рядами книжных полок (все это приметы времени, уходящие вместе с последними читателями подписных библиотек), – уже пролились слезы над белым пуделем, уже прочитаны «Сапсан», «Барбос и Жулька», но впереди «Гамбринус», «Яма», «Поединок», «Суламифь», «Тапер», «Сентиментальный роман», «Кадеты», «Гранатовый браслет», «Жидовка», «Штабс-капитан Рыбников».

Впереди весь Чехов, его я еще по-настоящему полюблю, и отнюдь не только за «Каштанку», но и за полные иронии, беспомощной грусти и любви письма.

И Короленко, и Гарин-Михайловский, и Гаршин, и бунинские темные аллеи, и кисло-вяжущий вкус антоновских яблок, этот смачный хруст, смятение, боль, очарованность – все это будет позже...

Пока же – Куприн. Полузапретный, ни с чем не сравнимый. Это потом ты усвоишь, что «Цветы осенние» – это Куприн, а «Цветы запоздалые» – Чехов, и влюбишься намертво и в то, и другое. Попробуйте прочесть, просто произнесите это медленно, вслух, окунитесь в неспешное, подробное, не пренебрегающее деталями струение слов.

Мы утратили (утрачиваем) подробность существования и повествования (одну за другой), при возрастающей скорости перерабатывания информации – мы стали небрежны, поверхностно чувствительны, поспешны

«Но иногда нами овладевала потребность в городском шуме, в сутолоке, в чужих людях. Затерявшись в незнакомой толпе, мы бродили, прижавшись друг к другу, и еще теснее, еще глубже сознавали нашу взаимную близость. Помните ли вы это, дорогой мой? Что касается меня, я помню каждую мелочь и болею этим. Ведь это все мое, оно живет во мне и будет жить всегда, до самой смерти. Я никогда, если бы даже хотела, не в силах отделаться от него... Понимаете ли – никогда; а между тем его на самом деле нет, и я терзаюсь сознанием, что не могу еще раз по-настоящему пережить и перечувствовать его. Бог или природа, – я уж не знаю кто, – дав человеку почти божеский ум, выдумали в то же время для него две мучительные ловушки: неизвестность будущего и незабвенность, невозвратность прошедшего» (Куприн).

«Выпал первый снег, за ним второй, третий, и затянулась надолго зима со своими трескучими морозами, сугробами и сосульками. Не люблю я зимы и не верю тому, кто говорит, что любит ее. Холодно на улице, дымно в комнатах, мокро в калошах. То суровая, как свекровь, то плаксивая, как старая дева, со своими волшебными лунными ночами, тройками, охотой, концертами и балами, зима надоедает очень быстро и слишком долго тянется, для того чтобы отравить не одну бесприютную, чахоточную жизнь» (Чехов).

Мимо леса и реки

Мы живем в параллельных мирах. Вайфай, чекин, смартфон, посадочный талон, онлайн-регистрация, слово фуагра щекочет язык обещанием изысканного, и тут же – чернеющие рытвины в асфальте, разбитая маршрутка, набитая пылью и мятыми пассажирами, едущими из пункта А в пункт Б, – под безудержный речитатив с пожеланиями любимой жене от любящего супруга, любимому племяннику от любящих дяди и тети – в пионерский лагерь, – панове, ведь пионеров нет, уж тридцать лет как нет, – а лагеря – есть! – счастливый хор дебелих пионервожатых в трепещущих на ветру кумачовых галстуках и минималистических юбочках развеивает сомнения, – времена, наполняя друг на друга,

образуют дополнительное пространство, подобное машине времени, которая, ускоряя свой бег, в мгновение ока доставляет в будущее и далекое прошлое, – там сонные электрички, засцанные тамбуры, там петушинные головы, накрытые холстиной, выкрикивают прощальное «кукареку», в корзинах – россыпи ягод, на незнакомой станции – одинокая фигура в плаще, – время, делая резкий скачок вперед, оставляет следы, – тусклая лампочка в приемном покое, свежая побелка, драпирующая «света, я тебя лю...» и жирно прописанное (будто некий итог) слово из трех букв, – буквы, глумливо ухмыляясь, выскакивают из кармашков детской азбуки, – их можно переставлять так и этак, но итог от этого не становится иным, – а *** тебе, – в искреннюю заботу о ближнем сложно поверить в наших благословенных краях, везде ощутим подвох, двойные стандарты, – заааааходим, пассажиры, заааааходим, – у нашего водителя аккуратно выбритые седые височки, чистый воротничок, остановившийся взгляд военрука «в завязке», – слова он медленно процеживает сквозь ряд сцепленных зубов, не торопясь с результатом, – вопросы повисают в воздухе, ответы, провернутые в мясорубке рта, оказываются рубленными, нафаршированными порохом, свинцом, в них – ненависть плавает, перекачивается, подобная ртутным шарикам, – я вижу, как ходят желваки, натягивая кожу за ушами, – не будем же торопиться с выводами, панове, – водитель тоже человек, впрочем, как и любой из нас, – выходим на заправке, разминая члены, выпиваем дрянной кофе из бумажного стаканчика, выкуриваем сигарету, и тут же становимся значительно ближе друг к другу, понятней, – не вааалнуйте, всех довезем, – улыбается (то ли скрытая угроза, то ли обещание) он, зажав в ладони окурок, – глаза его, начиненные серой пылью, оттаивают, обнаруживая человеческое, – он треплет по головам чужих детей, которые тут же, провозжая проплывающие за окнами реки, поля и леса, задумчиво изрекают – вот мост, вот река, вот корова, – мама, почему корова грустная, почему бабушка плачет, она просто старенькая, да? – пахнет беляшами, солнцем и близким дождем, и серый человек, обернувшись, все машет и машет рукой, то ли провозжая, то ли встречая проходящих мимо.

Однажды она чуть было не расплакалась, увидев, как ее отец гладит по макушке своего внука, его, соответственно, ее сына. Это стало открытием, тайным страданием и восторгом. Так вот на что, оказывается, способна мужская ладонь. Флюиды отцовской нежности поступали к ней через голову сына.

Наблюдать, как пожилой мужчина разводит в очаге огонь. Как языки пламени вырываются за каминную решетку. Он подкладывает поленья, ворошит угли. В одном этом действии больше смысла, нежели в долгих беседах ученых мужей.

Оказалось, она обращает внимание на руки мужчины. Запястье, суставы, пальцы. Руки бывают мудрее их обладателя. И, уж точно, они не обманут. Очень часто руки могут исправить то, что натворил глупый язык. Одним движением.

Если эти руки не гладили ребенка, они ничего не стоят. Если эти руки не ласкали женщину, они ничего не стоят. Если эти руки не утешали старика, они ничего не стоят.

Никакие выспренные речи не заменят умной силы рук.

Он видел их тела, распластанные, беспомощные, лишённые дьявольской и божественной силы, способной свести мужчину с ума. Он видел изнанку того, что являлось загадкой. Он видел их дряхлеющими, вымаливающими лишней день жизни, он видел их полными жизни и сломленными, он видел их ликующими и бесплотными, проклинаящими и скорбящими, – загадка, – он все еще продолжал любить их, желать, жалеть. Но никогда ненавидеть.

Она не знала еще, что жизнь вовсе не является прямой линией, – множество маленьких и больших жизней, отрезков, углов, многогранников, пересекающихся друг с другом граней, совпадающих точек, скорее уместны, нежели прямая линия. А еще острова, окруженные водой, – те самые, на которых отсутствует понятие времени.

Слаженный оркестр. Остановленное время. У каждого своя партия. Ночное неистовство лягушек. Утренний хоровод цветов. С наступлением зноя гаснет синева, никнут стебли. Резкий аромат мятного листа. Его можно растереть пальцами и провалиться в долгий целительный сон. Мясистый фиолет базилика. Лекарственная едкость зверобоя.

За забором ничья вишня. Набухает темной кровью, сочится зноем, просится в ладонь.

Вкус шелковицы откуда-то из беспечных времён. Хочется удержать его, но ускользает день, ускользают цвета, вкусы, желания, – зной размывает их остроту, оставляя, пожалуй, единственное, – божественность замысла, грандиозность исполнения.

И наивысшая точка – когда Творец и его возлюбленное дитя слышат друг друга, не нарушают границы, действуют в унисон.

В этих местах – время не абстрактная величина, а вполне конкретная. И дело вовсе не в секундной стрелке, и даже не в часовой. Время – или то, что мы считаем таковым, – всего только безучастный наблюдатель формирования персиковой косточки, ее мягкости, незрелости, молочности, – ее возмужания, крепости, силы, разрастания персиковой плоти, – мышц, нежной кожицы, кровеносной системы, по которой курсируют ночная влага, полуденный зной и предутренняя прохлада. Каким-то непостижимым образом жизнедеятельность персиковой косточки связана со стрижами, пикирующими сверху, с позывными кукушки, с потрескиванием сухих ветвей, сверчанием сверчков, пением цикад, деликатным шорохом травы, ласкающей ступни того, кто, отворяя дверь, ступает по ней, отмечая наполненность и осмысленность всякого мгновения, слаженность действия и звука, – будто невидимый дирижёр, взмахивая палочкой, наполняет смыслом всякий отрезок времени и всякую сущность, пребывающую в нем.

И все это всего лишь подтверждает его присутствие. Разрастание персиковой плоти, ее свечение, – целеустремленность, цепкость виноградной лозы, соединенной с ветвями вишневого дерева, – сладость и спелость падающих вишен, терпкость вина, в котором соединяются солнце, влага и, собственно, время, необходимое для его брожения и выдержки.

В последние дни места и обстоятельства казались ему чем-то вроде многократно прожитого, пережитого, исследованного вдоль и поперек. Лес, речка, проселочная дорога, одни и те же лица, относительная предсказуемость и повторяемость событий. Теперь уже можно было представлять себе другие места, – например, город, бегство из которого еще каких-нибудь три недели тому было таким желанным. Да, там духота, жара, невыносимость, но многообразие лиц, сюжетов, происшествий. А тут – лес, река, коровы, близость кладбища, – которое, к слову сказать, не производило гнетущего впечатления, – размалеванные аляповато лавочки, пестрые луговые цветы, которые в том же количестве произрастали и за оградой. Солнце уходило за горизонт, освещая кресты, ограды, могилы, – чуть поодаль, на развилке, шелковица роняла темные ягоды, – они уходили в землю, окрашивая ее в иссиня-черный цвет, и только случайные городские люди тянулись, нагибали гибкие ветви, ловили губами спелость и сладость, смеялись, точно от щекотки, вспоминая, должно быть, беспечные времена.

Сельский продмаг с джентльменским набором – каким-нибудь сухим алиготе, портвейном, чуть подсохшим бело-розовым зефиром, пряниками, только что завезенным мороженым. Пережидая полуденный зной, присесть под навесом, – смотреть, как хмельная струя наполняет стакан, как лениво растекается время, как медленно бредет чужая старуха, – острый запах немощи не отвращает, – здесь, под высокими небесами, ничто не кажется противоестественным – ни смерть, ни старость, – у них столько же прав, сколько у жизни. Голоногая девчонка на велосипеде, – вы с дачи? с турбазы? – забытые слова из прошлых жизней, забытое чувство летнего безвременья, – когда дождь выстукивает по крыше веранды, некто раскладывает пасьянс, сдвигая карты, а вместе с ними – планы, обязательства, подсчеты, – в права вступает иная реальность, – из мятой колоды карт – подробный перестук колес, исцарапанные ноги, запястья, след от укуса комара, приبلудная собака, укладывающая голову на сложенные лапы, полудремлет неподалеку, вскидывается, отбиваясь от мух, помахивает хвостом, лениво приподнимается, под свалившейся шерстью ходят ребра, – она не просит, не скулит, просто смиренно ожидает – чего-нибудь, любого знака со стороны сидящего за пластиковым столом человека. Согбенная в три погибели чужая старуха, наконец, преодолевает ступени, – их ровно три, – смеется, прикрывая ладонью пустой рот, – в ответ на чей-то вопрос тело ее сотрясается от безудержного старушечьего смеха, – коричневолицый, сухой, точно кора старого дерева, человек сметает обертки, бутылки, – зной оплавляет, размывает лица, силуэты, верхушки сосен, – пожалуй, одно оставляя неизменным – явность присутствия, делающего осмысленным и связанным все – дорожку пепла на пластиковом столе, чужую старуху, шелковицу, звуки, которые не нарушают тишину, а дополняют ее, – много позже, окруженный городским шумом, многообразием всего, обилием лиц, связей, возможностью выбора и невозможностью его, он вспомнит (между прочим) застывший кадр, в котором наполненность и бесконечность мгновения оставляют пространство как для сидящего под навесом, так для идущего по дороге, – туда, мимо кладбища и леса.

Пусть это будет, допустим, жаркий либо пасмурный летний день, проселочная дорога, виноградная лоза, опоясывающая плетень, солнце, проступающее сквозь травы, листья и цветы. Да, пусть это будут полевые цветы, растущие по обочине дороги. Повернутый к солнцу подсолнух, бесстыдно алеющий мак, невинная россыпь васильков, пустынная бескрайность поля, пьянящая тяжесть полдня. И всякий раз чувство быстротечности всего и бесконечности. Где-то посередине – точка, где эти двое пересекаются.

Набросок

Идут быстро. Мужчина возмущенно размахивает руками, женщина семенит рядом, грудь ее виновато подпрыгивает.

– Так я ж говорю, – мужчина выразительно стучит костяшками пальцев по собственной голове, – разумом надо думать, а не этой, как ее...

Чем на эту гневную, но беззлобную тираду отвечает виноватая спутница, мне уже не слышно.

Зато слышно, как вдохновенно поют сверчки, и запах речной воды напоминает о том, что буквально в пятнадцати минутах от меня народ живет наполненной жизнью, – там шашлыки, огни дискотек, там клуб одиноких сердец под названием «Жизнелюб», там ловят «оттакую рыбу» сивоусые крепкие дядьки, ловят, а потом жарят, пекут, едят, там карусели взмывают до небес, там пахнет пивом и ряской, там хрипят и взрываются динамики и живет последняя надежда, это она швыряет женщин в тесных платьях в объятия нестарых еще мужчин, это ради нее прическа, помада морковного цвета, перламутровые босоножки, едкость духов.

Разумом надо думать, – а где же его взять в эти жаркие дни, откуда, скажите на милость, разум, когда входит в метро девушка, ничего особенного, не модель, ничего такого, но я тут же успеваю пожалеть о том, что нет у меня чем и на чем – рисовать, да не рисовать. а перенести все, что я вижу, – запечатлеть, пригвоздить к листу бумаги, – она садится напротив, что ж, прекрасная возможность попытаться запомнить – эти скрещенные ноги, шею в вырезе простенького платья, сомкнутые плотно колени, неловко лежащие на них руки, – ничего особенного, ну, вы уже поняли, – но ведь так влюбляются навеки, – пока только в мягкость очертаний, зыбкость, поворот головы, – глаз придирчиво снимает мерку, пытаюсь уловить закономерность красоты, – вычислить формулу, по которой уже потом воспроизвести все от начала до конца, от гладкой макушки с белеющим в темных волосах пробором до гибких пальцев ног, – вот так, – эти почти параллельные линии рук, тяжелые опущенные веки, некрасивый крупный рот, – ведь некрасивый же, а все вместе – поэзия, изысканное блюдо для гурмана, – ах, отчего я не он, – взять за эту безвольно лежащую руку и вести, – неважно куда, – заглядывая время от времени под косо срезанную челку...

Разумом надо думать, – доносится уже издалека, и я хватаю блокнот, карандаш, – обрывки формулы еще витают, все компоненты налицо – август, жара, мягко покачивается вагон, блестит река, бренчит гитара, в кустах чей-то расслабленный смех, баржа плывет, катер несется, – все как тогда, но что-то определенно не складывается, не совпадает, – числа, размеры, расстояния, – раскладываю линии, вспоминая произвольность позы, беззащитность ее, свежесть попутного ветра, – там еще камыши шумели,гнулись, само собой, деревья, луна плескалась в камышах, – коричневые шиколотки, ниточки на запястьях, – помните, как это бывает, – две недели до школы, а школы нет и уже не будет, – берешь мелок и медленно ведешь его, охватывая впадины, выпуклости, отсекая второстепенное, утопая в деталях, – комкаешь, заталкиваешь в дальний угол, признавая тщетность попыток, бессмысленность формул, невыразимость слов, звуков, линий и цветов.